

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В12

Оформление переплета *Виктории Лебедевой*

Издательство благодарит литературное агентство
«Banke, Goumen & Smirnova»
за содействие в приобретении прав

Вагнер, Яна Михайловна.

В12 Живые люди : роман / Яна Вагнер. – Москва :
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной,
2020. – 410, [6] с. – (Кинобестселлеры).

ISBN 978-5-17-121241-4

«Живые люди» – продолжение бестселлера «Вонгозеро», роман-робинзоиана, герметический триллер. Одиннадцать человек – восемь взрослых и трое детей – спрятались от эпидемии на маленьком острове посреди карельской тайги. Значит ли это, что самое страшное позади? Они выжили, но отрезаны от мира и заперты вместе. Им придется зимовать, голодать и самое главное – учиться принимать друг друга, сосуществовать тесно, бок о бок. Выбор простой: измениться или погибнуть.

На платформе PREMIER выходит «Эпидемия» – экранизация первого романа дилогии «Вонгозеро».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-121241-4

© Вагнер Я.М.
© ООО «Издательство АСТ»

Я всё пытаюсь представить себе, что она чувствовала, запертая вместе с сыном в собственной квартире, отгородившись от хаоса и смерти тонкой дверью с двумя финскими замками. Две недели. Две недели мучительных сомнений — выйти или остаться? Включить свет или сидеть в темноте? Наблюдать, как тает жалкая кучка консервов, полученных в последний раз, когда она решилась выйти из дома, на следующий день после того, как приходила Лиза (которая села на пол возле двери — снаружи, прямо на лестнице, и даже не просила впустить ее, а просто сидела, долго, несколько часов). Слушая из-за двери Лизино тяжелое прерывистое дыхание, она могла думать только об одном: чтобы Лиза поскорее ушла, потому что ранним утром придет продовольственный грузовик и дверь нужно будет открыть.

Взять мальчика с собой всякий раз казалось страшнее, чем оставить его дома одного, и в то утро она пошла с соседкой, потому что вместе было все-таки безопаснее, хотя какая там безопасность — две женщины. До этого с ними ходил Юра с десятого этажа, но сегодня Юра не открыл им, когда они звонили в дверь. На самом деле, он даже не подошел к двери. В объяснениях не было нужды; они слышали, как он, захлебываясь, кашляет где-то в недрах своей квартиры, и поспешно повернулись и побежали вниз по лестнице. Соседка сказала только: «Вот и Юрка...» — и блеснула темными глазами поверх плотной марлевой повязки, и больше они уже об этом не говорили; они вообще очень мало теперь разговаривали, и не только из-за повязок: просто всё было и так понятно, и не нуждалось в том, чтобы быть произнесенным.

Они бежали по стылой улице, временами увязая по щиколотку в рыхлом грязном снегу, — чистить улицы теперь было непозволительной роскошью, — и она думала: «Сорок минут, максимум — час, очередь с каждым днем становится всё меньше и меньше; ничего не случится, он не станет включать воду, не станет ковыряться в розетке, и даже если кто-нибудь — кто угодно — позвонит в дверь, он не откроет, потому что не может дотянуться до верхнего замка; он в безопасности». Они бежали, и уже видно было грузовую машину с грубо нарисованным красным крестом и жидкую разрозненную толпу людей вокруг, ко-

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

торую они привычно попытались оценить: да, минут сорок, если только какая-нибудь старуха (почему-то это всегда именно старухи и никогда старики) не задержит очередь, потому что забыла или потеряла талон, и тогда возникнет жалкий, визгливый, недолгий скандал, и домой удасться вернуться через час, не раньше. Бежать стало легче — по снегу, утопанному и плотному, как асфальт, — с утра (а машина приезжала рано утром, еще затемно) здесь перебивали все, кто мог еще выйти на улицу, и их по-прежнему набиралось достаточно, в то время как во дворах уже было не разойтись из-за неряшливых сугробов с узкими, на одного человека, протоптанными тропинками. Попадались даже целые подъезды — она отметила несколько на бегу, — вокруг которых снег лежал нетронутый и чистый, без единого следа. Уже возле самой машины, из кузова которой человек в черном армейском респираторе выбрасывал серые одинаковые коробки и монотонно, невнятно повторял одну и ту же фразу: «По одному. По одному, я сказал. На шаг отойдите. Отойдите, женщина», она нащупала в кармане твердый прямоугольник продовольственного талона. Начала пробираться поближе к хмурому контролеру, стараясь не столкнуться ни с кем из прочих собравшихся возле грузовика людей, не задеть рукавом или полкой пальто, и вдруг подумала: «Он не сможет открыть дверь. Если что-нибудь случится прямо сейчас, на обратном пути, когда мы понесем эти чертовы коробки, которые никуда

не спрятать, которые словно кричат: смотрите, у меня есть еда, а с нами теперь нет Юры (можно считать, что Юры вообще больше нет). Если что-нибудь случится со мной. Если я не вернусь — он не сможет открыть дверь. И никто не придет к нему». Эта мысль заставила ее бежать назад еще быстрее, несмотря на тяжелую, неудобную коробку, и соседка, с такой же коробкой наперевес, едва поспевала за ней.

Она ворвалась домой, сняла пальто и в который раз подавила острое, невыносимое желание выбросить его наружу, за дверь, чтобы ни одна молекула чужого, опасного наружного воздуха не осталась здесь, внутри, в их единственном убежище, а потом, крикнув в комнату: «Я сейчас, не выходи!», долго и тщательно мыла руки и лицо, терла толстый, уже махрящийся по краям марлевый прямоугольник хозяйственным мылом и думала: «Боже мой, как хорошо, что есть вода, только бы они не отключили воду», — и лишь после этого подошла к мальчику, понюхала его макушку и сказала: «Видишь, я недолго. Проголодался?» Он сидел на полу, над стопкой журналов, и даже не поднял на неё глаза, просто помотал головой — нет, я занят, потом.

Больше она не выходила. В конце недели соседка стучалась к ней и кричала: «Ирочка! Ириша! Вы как там?» — но она даже не смогла себя заставить подойти к двери и объяснить, почему больше не может выйти наружу. Просто не может снова идти туда, а потом возвращаться, принося

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

на себе невидимую липкую заразу, от которой нельзя избавиться и нельзя спастись. Поэтому все время, пока соседка стучала и звала ее, она безучастно сидела на диване, а потом посмотрела на удивленного мальчика, приложила палец к губам и постаралась улыбнуться ему: тише, это такая игра, как будто мы спрятались и нас нет. Молчание из-за двери в эти дни можно было истолковать одним-единственным способом, и соседка, вероятно, так всё и поняла, потому что слышно было, как она говорит невнятно: «Боже мой, боже мой», и ее торопливые удаляющиеся шаги на лестнице.

Из коробки, которую она принесла домой в тот последний день, к концу первой недели не осталось почти ничего — початая пачка гречки, несколько банок консервированной говядины и банка сладкой кукурузы. К счастью, мальчик никогда не отличался особенным аппетитом, и она подсчитала, что ему хватит еще дня на четыре, если сама она перестанет есть совсем. В кухонном шкафу обнаружили пересохшие и безвкусные, как бумага, диетические сухарики, и еще мука, почти полный пакет. Она очень рассчитывала на эту муку, из нее получались бледные, выцветшие тонкие лепешки. «Четыре дня, — сказала она себе. — У меня есть еще четыре дня, и только потом, если ничего не изменится, только потом я подумаю, что делать дальше».

Сереза звонил каждый день, утром и вечером, и все время спрашивал: «Как вы? Вы осто-

рожны? Что вы едите?» — и она боялась признаться ему, что пропустила уже одну выдачу продуктов и намерена пропустить следующую. Потому что он наверняка убедил бы ее в том, что это ошибка, а она знала, точно знала, что права, и выходить нельзя, и нельзя открывать дверь. Потому что в понедельник она все утро караулила возле дверного глазка, машинально задерживая дыхание, словно самый воздух, проникающий сквозь кожаную обивку, мог представлять угрозу, и не увидела никого, ни одного человека, хотя это был день, когда приезжала продуктовая машина. Лестница оставалась пустой, она не заметила даже соседки. Сереже было бессмысленно рассказывать об этом. Он все равно ничего не понял бы, не смог бы представить это оттуда, снаружи, из-за карантина. Она старалась отвечать односложно и, наконец, попросила звонить только раз в день, вечером, и говорить недолго, несколько секунд, потому что не знала, как долго еще проработает телефон; ей почему-то казалось, что с каждым звонком уменьшается и тает какой-то неведомый ресурс, подпитывающий существование гудка в трубке. Он говорил: «Я ездил сегодня, меня опять не пустили, Ирка, но ты не волнуйся, надо просто потерпеть, я что-нибудь придумаю, вы, главное, будьте осторожны». И она думала: «О, мы осторожны, мы чертовски осторожны, только у нас осталась последняя банка говядины и немного муки, а на площадке перед подъездом, которую немного видно из ок-

на кухне, уже несколько дней нет никаких следов», — но не говорила ему, потому что и эти звонки, напоминавшие ей, что прошел еще один день, и Сережин встревоженный голос в трубке были сейчас бессмысленны и только раздражали.

В ночь со среды на четверг телефон умер. Она не узнала бы об этом, если бы не сообразила вдруг, что Сережа за весь день ни разу не позвонил. Сняв трубку около полуночи, она услышала только плотную, без потрескиваний, тишину, и в эту ночь так и не смогла заснуть. Хотя даже без этой несвоевременной телефонной смерти не заснула бы все равно, потому что именно сегодня у них, наконец, закончилась еда. Уже после того, как Антошка доел свою порцию, она неожиданно обнаружила, что бездумно и жадно слизывает остатки мясного желе с зазубренных стенок металлической банки, и почувствовала во рту вкус собственной крови, и тогда ей стало ясно, что отсрочка, которую она себе выторговала, только что кончилась. Всю ночь она просидела возле включенного телевизора; она теперь вообще не выключала телевизор, хотя уже неделю он показывал только три идущие в записи передачи по кругу, в одном и том же порядке, который она выучила наизусть: эффективные меры предосторожности в период эпидемии, обращение главного санитарного врача, списки пунктов экстренной помощи. Вот сейчас, после слов «сохраняйте спокойствие, оставайтесь на своих местах» гладко причесанная диктор запнется и еще раз по-

смотрит на лежащую перед ней страницу — так и есть, это та же самая запись. Их, возможно, уже нет — ни этого врача, ни этого диктора, но кто-то же должен следить за эфиром, это ведь не может происходить автоматически, само по себе, кто-то должен оставаться в огромной, похожей на толстый каменный карандаш телебашне, тускло мерцающей электрическими огнями на фоне темного неба. Может быть, рано или поздно кто-нибудь всё же прервет этот бесконечный закольцованный ряд и сообщит что-то другое, что угодно, лишь бы это помогло ей разобраться, что происходит там, за дверью, в огромном городе, и подсказало бы, что ей нужно делать.

Под утро она села на широкий пластиковый подоконник и, прижавшись щекой к холодному стеклу, стала смотреть в окно. Виден был совсем небольшой отрезок, остальное загораживал соседний дом, высокие деревья рядом с ним и яркий билборд с неуместной теперь рекламой коркуновского шоколада, но она была уверена, что не пропустит продовольственный грузовик, который скоро должен проехать здесь, потому что кроме этого грузовика по улице давно уже никто не ездил. Она ждала несколько часов, до самого рассвета, а когда проснулся мальчик и позвал ее, поняла, что грузовик не приедет; что, возможно, он не приезжал и в понедельник, просто ей не пришлось в голову это проверить, и невольно почувствовала что-то похожее на облегчение от мысли, что выходить не придется, теперь незачем.

Именно тогда она нашла варенье. Банка была небольшая, полторалитровая, с рыжими разводами ржавчины на туго прикрученной крышке, которую она долго не могла отвинтить и уже начала прикидывать, как бы поаккуратнее разбить банку, чтобы осталось как можно меньше осколков. Но крышка неожиданно поддалась, брызнув в стороны колючей сахарной пылью. Варенье было старое, почти черное и чудовищно приторное. Она попыталась выложить его на тарелку как-нибудь покрасивее, чтобы порадовать мальчика, и в конце концов у нее получилась комковатая веселая рожица — два глаза, улыбающийся рот. Столько сахара, думала она, нам хватит еще на несколько дней, если разделить его — по четыре чайных ложки утром, днем и вечером, хорошо, что есть вода, только бы они не отключили воду.

Всякий раз, пытаясь представить, что она чувствовала, спрятавшись с мальчиком за тонкой дверью с хлипкими замками, я возвращаюсь именно к этому дню, к этому утру, когда она считала, сколько ложек варенья может позволить себе съесть. О чем она думала, выскребая из банки твердую, неподатливую черную массу? Пришло ли ей в голову, что, если бы не ребенок, она вышла бы и, возможно, застала бы грузовик? Что даже теперь, когда грузовик можно уже не ждать, она все равно, наверное, вышла бы, но мальчику только пять, он не может долго ходить и быстро устает, и в теплом зимнем комбинезоне он ужасно неповоротливый. Они не сумели бы убежать,

если бы кто-то на улице, кто-то больной, опасный, попытался остановить их, ни за что не сумели бы. Боялась ли она того, что, возможно, все-таки пропустила момент, когда всех остальных забрали, спасли, увезли куда-то в безопасное место, или проспала какое-нибудь короткое сообщение по телевизору, что-нибудь об эвакуации или вакцине? Не казалось ли ей, что они двое, она и мальчик, — последние, кто остался здесь? Последние, кто остался вообще. Потому что теперь, когда телефон молчал, а в окне виднелся только безлюдный кусок улицы, присыпанный рыхлым неутоптаным снегом, было так легко представить себе, что и Сережи, который обещал приехать и забрать их, тоже больше нет.

Она очень мало говорила об этих двух последних днях, начавшихся с банки старого варенья и закончившихся тем, что посреди ночи Сережа вдруг позвонил в дверь, потому что патрули, охранявшие город, разбежались, и он смог наконец прорваться. Я знаю только, что она открыла ему не сразу и сначала долго смотрела в глазок, пытаясь определить, не болен ли он (ведь Лиза точно была больна и именно по этой причине не просила открыть ей, а просто сидела под дверью и дышала, пока наконец не поднялась, держась за стену, и не начала медленно спускаться вниз, оставиваясь на каждом пролете лестницы). И хотя Сережа был здоров, ведь за пределами карантина ничего еще не успело произойти, там всё только начиналось, — всё, что так быстро, в считанные

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

недели погубило громадный тринадцатимиллионный город, — прежде чем открыть дверь, она надела маску себе и Антону, и Сереже удалось уговорить ее снять эти маски лишь спустя два часа, когда после стремительных лихорадочных сборов — «Некогда, Ирка, брось, у нас всё есть, найдем мы тебе и одежду, и обувь, сейчас перегородят всё заново, и мы тогда точно не выберемся» — они уже ехали по пустынной неосвещенной трассе, оставив далеко позади и мертвый город, и взбаламученные, истерически бурлящие коттеджные поселки, перепуганные тем, что кордонов больше нет и теперь их некому защитить.

Больше я не знаю ничего. Она вообще рассказала очень немного, несмотря на то что, как только на улице темнеет и единственным источником света в доме становится тускло-оранжевая прямоугольная щель вокруг закопченной печной дверцы, нам не остается ничего, кроме разговоров. У нас еще осталось немного керосина, но мы бережем его для особых случаев, и поэтому все вечера, все без исключения, проходят одинаково: света слишком мало даже для того, чтобы чистить рыбу или чинить вещи, так что мы просто сидим в рыжем полумраке — восемь взрослых, трое детей — и разговариваем. Конечно, мы могли бы рассказывать о чем угодно, у каждого из нас за плечами целая жизнь, полная самых разных событий, только мы всегда говорим об одном и том же: о тех последних неделях перед самым концом. О том, какими мы были беспечными идиота-

ми. О том, как мы ничего не поняли. О том, как мы опоздали и никого не успели спасти, и едва спаслись сами. Если, конечно, это вообще можно назвать спасением.

За последние месяцы мы обсудили всё это столько раз, что я выучила все истории наизусть и в мельчайших подробностях могу представить себе каждый день любого из остальных. Каждый день из нескольких недель, когда стало ясно, что ничего уже не исправить. Но единственное, о чем я никак не могу перестать думать, — это те последние два дня, в течение которых она отсчитывала ложки с вареньем: одна, две, три, четыре... Я представляю теперешнего Мишку, — большого, с незнакомым взрослым выражением лица, — пятилетним и пытаюсь понять, смогла бы я запереться и не выходить совсем, ни при каких обстоятельствах. Не открыть дверь сестре, не выйти к продовольственному грузовику. Просто повернуться спиной ко всему этому кошмару снаружи, и сделать вид, что там, за дверью, ничего нет, и существует только эта маленькая квартира и банка засахарившейся смородины. И ведь она не ошиблась. Ей действительно не нужно, ей нельзя было выходить, потому что, возможно, только по этой причине и она, и мальчик сейчас здесь, с нами.

Бывшая жена моего мужа и его единственный сын.

И я не могу перестать думать еще об одном. Знаю, что это плохо, это правда очень плохо,

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

и я ни за что никому не призналась бы, что думаю об этом, но все равно не могу перестать. Что было бы, если бы она все-таки сделала это? Если бы вышла наружу до того, как приехал Сережа.

* * *

Я часто пытаюсь представить себе город — не тот, каким я его знала до катастрофы, а сегодняшний — опустевший и мертвый. Меня не было там, когда все началось, а чужие рассказы и обрывки телевизионных репортажей почему-то так и не захотели соединиться в моем воображении с тем, что я помнила о нем сама. Даже если бы я попробовала наложить всё, что мы увидели позже, в попавшихся нам на пути городах, на знакомые с детства улицы, — безмолвные и равнодушные вереницы бредущих вдоль дороги людей с санками в Устюжне, пустоту покинутого жителями Кириллова, — у меня все равно ничего не получилось бы: слишком не похожи на наш громадный мегаполис оказались эти крошечные северные города, каждый из которых можно было проехать насквозь самое большее за четверть часа.

То, что я не могу увидеть, как он выглядит теперь, оставленный нами город, совсем не страшно. Мне ведь некуда торопиться, и думать о нем — прекрасный способ хоть чем-то занять свои мысли. Я представляю себе его фрагментами, дольками: Битцевский парк с елками и скамейками, где мы